

СЮЖЕТ И МЕТОДЫ ЕГО ОПИСАНИЯ

УДК 821.161.1

А. Н. Полосина

Тула, Россия

ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ СЮЖЕТОВ В ТВОРЧЕСТВЕ ШИЛЛЕРА, В. А. ЖУКОВСКОГО И Л. Н. ТОЛСТОГО

Тема бренности земного существования, непостоянства счастья и тщетности человеческих надежд была в кругу интересов Шиллера, В. А. Жуковского и Л. Н. Толстого. Отсюда их интерес к легенде о Поликратовом перстне историка Геродота, к «Притче св. Варлаама о временном сем веще», в которых отражена эта вечная тема. В статье рассматриваются первоисточники этих бродячих сюжетов и их трактовка в творчестве названных писателей.

Ключевые слова: судьба, фатализм, бродячий сюжет, иллюзорность счастья, тщетность надежд, смертная казнь.

Судьба никогда не благоприятствует нам с подлинной искренностью.

Поликрат Самосский

Тема бренности земного существования, непостоянства счастья и тщетности человеческих надежд всегда была в кругу интересов Толстого. Отсюда его интерес к легенде о Поликратовом перстне и к «Притче св. Варлаама о временном сем веще», в которых отражена эта вечная тема.

Первоисточником бродячего сюжета о Поликрате Самосском был древнегреческий историк Геродот. В третьей книге его «Истории» рассказывается о судьбе властителя острова Самос Поликрате. Краткий синопсис этого сюжета таков: боги позавидовали удачам греческого царя Поликрата Самосского. Даже его решение добровольно выбросить в море любимый перстень по совету его друга, египетского фараона Амазиса, не смягчило богов. Боги не приняли его добровольной жертвы, и перстень был возвращен Поликрату. Рыбак поймал рыбу, подарил ее царю, повара разрезали рыбу, и нашли в ней тот самый перстень. Фараон, уstraшенный

Полосина Алла Николаевна – кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Государственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Толстого “Ясная Поляна”» (п/о Ясная Поляна, Щекинский р-н, Тульская обл., 301214; alla.polosina@tgk.tolstoy.ru; +7 (487 2) 23 98 32)

Сюжетология и сюжетография. 2013. № 2. С. 3–11
© А. Н. Полосина, 2013

таким явным знаком обреченности друга и его судьбы, покидает его в страхе разделить его участь. Вскоре Поликрат действительно погиб мучительной смертью: его обманом завлек к себе персидский сатрап Оройт, умертвил его, распяв вниз головой.

Христианская традиция восприняла этот сюжет как свой. Евангельская притча о статире – золотой монете, найденной апостолом Петром по предсказанию Христа в рыбе – это вариант широко распространенного в мировом фольклоре сюжета о Поликратовом перстне. «Римский мытарь собирал деньги со всех евреев на восстановление христианского храма. Христос отказался платить подать, но, чтобы не обострять отношения, послал своего ученика к галилейскому царю и сказал: «Чтобы нам не соблазнять их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир; возьми его и отдай им за меня и за себя» (Мф, XVII, 27).

Впоследствии сюжет о перстне распространился в древнерусской литературе. Он вошел в сборник книгописца Кирилло-Белозерского монастыря Евросина (XV в.), отражен в «Повести о папе Григории» (XVII в.), в «Повести об Андрее Критском» (XVII в.) и др. В сборнике «Gesta Romanorum» (XVII в.) существует вариант сюжета, когда предмет (деньги) находят не в рыбе, а в клоце (колоде) [1, с. 310, 373]. Мировой сюжет о Поликрате нашел отражение в художественной литературе: к нему обращались Шиллер, В. А. Жуковский, Л. Н. Толстой, А. И. Куприн в рассказе «Искушение» (1910), А. Платонов в сказке «Волшебное кольцо» (1950) [2, с. 115–116] и др.

История о Поликрате и его перстне послужила сюжетом баллады Шиллера в 1797 г. Она заимствована у Геродота и является выражением интереса к античному миру, характерного для последнего периода его творчества. В его балладе удача прочно срослась со всеми помыслами правителя Самоса, но чем больше побед, тем страшнее собеседнику, который при последнем радостном известии поспешно покидает счастливец. Шиллер как бы исподволь внушает мысль, что счастье непостоянно, что судьба переменчива, вслед за успехами и победами неотвратимо наступают бедствия: «Судьба и в милостях мздоимец: / Какой, какой ее любимец / Свой век не бедственно кончал?» [3, с. 169].

Тема судьбы, непостоянства, непрочности земного счастья и удачи, неизбежности кары, которую боги готовят чрезмерно счастливым людям, была близка В. А. Жуковскому. Он перевел балладу Шиллера «Поликратов перстень» на русский язык в 1831 г. [3]. При переводе смягчены слишком реалистические, с его точки зрения, подробности и сглажена тема зависти богов. «Боги желают твоей гибели» подлинника в его переводе такой: «На смерть ты обречен судьбою: / Бегу, чтоб здесь не пасть с тобою... / Сказал и разлучился с ним» [3, с. 167].

Романтическая муза Жуковского мало трогала Толстого, но шиллеровские переводы поэта он ценил высоко. Например, «Разбойники» писателю очень понравились, так как «они глубоко истинны и верны. Человек, отнимающий, как вор или разбойник, труд другого, знает, что он делает дурно; а тот, кто отнимает этот труд признаваемыми обществом законными способами, не признает своей жизни дурной, и потому этот честный гражданин несравненно нравственно хуже, ниже разбойника» [4, т. 51, с. 58].

Тема бренности земного существования и иллюзорности счастья попала в круг интересов Толстого в период работы над «Азбукой», и история «Поликрат Самосский» вошла в «Третью русскую книгу для чтения». Это – вольный перевод с греческого и переделка в самостоятельный рассказ отдельных эпизодов из глав XXXIX–XLIII и CXX–CXXV третьей книги второй части «Истории» Геродота. Источник перевода – издание Таушница в серии «Греческие и латинские классики» на древнегреческом языке из личной библиотеки Толстого с комментариями

на немецком языке (Herodoti Historiae / Edidit Carolus Abicht. Editio stereotypa. Lipsiae: Bernhard Tauchnitz, 1869. 2 Bd: Griechische und Römische Classiker). Кроме того, в личной библиотеке имеются берлинские издания Геродота. Попутно заметим, что в «Записной книжке» Толстого среди замыслов имеется запись: «Геродот французский» [4, т. 48, с. 166]. Не исключено, что здесь имеется в виду использование французского подстрочника при переводе с древнегреческого языка. Подтвердить предположение может только текстологический анализ греческого подлинника, варианта на французском языке и перевода Толстого, что проблематично на данный момент исследования.

По Толстому, понятие счастья содержит изрядную дозу фатализма, которое должно уравновешиваться мыслью, что для человека лучше, когда «в одном деле удача, а в другом нет» [4, т. 21, с. 256]. В глубоко продуманном толстовском переводе «Поликрата Самосского» эксплицитно выражена мысль о том, что «большое счастье Поликрата кончилось большим несчастьем» [4, т. 21, с. 256]. Иначе говоря, счастье – это только сон, а горе – действительность. Толстовский текст «Поликрата перстня» сохраняет все наиболее важные моменты, имеющие художественную ценность подлинника, и создает свой ритмичный пересказ в классической форме притчи.

В. А. Жуковский

В годы работы над «Войной и миром» стихотворение В. А. Жуковского «Певец во стане русских воинов» произвело на Толстого «возвышающее душу впечатление». Он даже собирался писать о Тарутинском сражении в духе это произведения: «Как легко было бы такое описание и как успокоительно действовало бы оно на душу» [4, т. 15, с. 52] – пишет он в вариантах «Войны и мира». Но как участник войны Толстой видел Тарутинское сражение благодаря «случайному скрепчиванию материалов» «совсем в другом свете». Сомневаясь, он спрашивает: «Но для чего же описывать его в этом другом свете, для чего разрушать возвышающее душу впечатление “Певца во стане русских воинов”?» И объясняет для чего: «Тьмы низких истин нам дороже (у Пушкина – мне. – А. П.) нас возвышающий обман. Признавая возвышающее впечатление «Певца во стане русских воинов», он сознательно разрушает его, так как «возвышающий обман служит источником, – пишет он, – тяжелых, мучительных сомнений и страданий для всех тех, которым приходится или придется служить эту тяжелую службу войны» [4, т. 15, с. 52]. По Толстому, «люди стали другие» и, «не находя в себе той воинской доблести, которую нам описывает певец во стане русских воинов, мы не переставали верить во всякую военную доблесть. Одно это практическое применение низкой истины уже доказывает, что одна низкая истина дороже для нас тьмы возвышающих обманов» [4, т. 15, с. 52–53].

Притча св. Варлаама о временном сем веще

С мотивом иллюзорности и непостоянства счастья, ненадежности и призрачности человеческих отношений коннотируется тема бессмысленности человеческого существования, которая получила развитие в «Исповеди» Толстого. Вторым сюжетом, который объединил общей темой творчество Толстого и Жуковского, был известный бродячий сюжет о путнике и верблюде из санскритского сборника «Панчатантра». Под заглавием «Притча св. Варлаама о временном сем веще» эта восточная басня помещена в «Прологе» [5]. Существует ее литературная обработка Жуковским. Это – «Две повести» (1844) – стихи с подзаголовком «Подарок на Новый год издателю “Москвитянина”». Во вторую часть повести вошла притча

о путнике и верблюде – вольный перевод 1-й притчи Фридриха Рюккерта из цикла «Восточные сказания и истории»: «Es ging ein Mann im Syrerland» («Шел один человек в Сирийской земле»). Сюжет восходит к популярной в средние века повести о «Варлааме и Иосафе», которая представляет собой конечное звено ряда переработок древнеиндийского жизнеописания Будды. Толстой прочел притчу в «Прологе», и не исключено, что ее переложение Жуковским также было известно писателю. «Пролог» и стихотворное переложение Жуковского могли быть источником «восточной басни про путника, застигнутого в степи разъяренным зверем» из IV главы «Исповеди» Толстого. Текстуальный анализ притч «Двух повестей», «Пролога» и текста из «Исповеди» показывает, что «Притча св. Варлаама о временном сем веце» имеет минимальные преимущества.

По Жуковскому, мудрец в поисках смысла человеческого существования осознает, что «наша жизнь есть *странствие по свету* <...> во *исполнение Верховной воли высшего царя*» [3, с. 447]. В «Исповеди» Толстой стремится «оглянуться на свою жизнь», рассказать о себе, об исканиях истины и веры. Он анализирует свою жизнь сквозь оптику восточной басни. Путник – отождествленный автор, видит безысходность и бессмысленность своего существования. Убегая в степи от разъяренного зверя, он ищет спасения на дне безводного колодца. Но и там его ждет погибель от дракона. При неизбежности смерти, как в степи, так и на дне колодца, он ухватывается за ветви дикого куста (в переводе Жуковского – куст малины), растущего в расщелинах колодца, и держится на нем. Он видит, как мыши, черная и белая (символ дня и ночи), подтачивают ствол куста, на котором он висит. Видит капли меда на листьях и достает их языком. Капли меда – это символ любви к семье и к писательству. Писательство автор называет искусством. Искусство было его «украшение и заманка к жизни». Если жизнь потеряла свою заманчивость, как можно заманивать других? Раньше отражение жизни в искусстве (писательстве) доставляли радость. Смотреть на жизнь в это зеркальце искусства было весело. Но при понимании того, что жизнь бессмысленна и ужасна, игра в зеркальце уже не забавляет. Сладость меда не может быть сладка в виду дракона и мышей, подтачивающих опору. Если просто понимать, что жизнь не имеет смысла, то можно спокойно думать, что это удел человека. Если бы человек *жил* в лесу, из которого, он знает, нет выхода, то можно было бы жить. Но автор – человек, *заблудившийся* в лесу, на которого нашел ужас, оттого что он заблудился. И это тот ужас, который приводит к мысли о самоубийстве.

Смертная Казнь

Третья общая тема, объединившая Толстого и Жуковского, – это тема смертной казни, один из самых болезненных и сложных вопросов.

Как известно, первое теоретическое обоснование необходимости отмены смертной казни появилось еще в XVIII в. в труде «О преступлениях и наказаниях» (1764) итальянского просветителя Чезаре Беккариа. По его мнению, «впечатление производит не столько строгость наказания, сколько его неизбежность» [6, с. 310, 373]. Иначе говоря, смертная казнь как средство предупреждения тяжких преступлений оказывается несостоятельной.

В России за смертную казнь выступали Н. М. Карамзин, В. А. Жуковский, Б. Н. Чичерин, Николай II, А. Столыпин и др. Кант воспринимал смертную казнь как возмездие за совершенное преступление, как акт торжества справедливости. Толстой входил в когорту противников смертной казни: Вольтер, Руссо, Монтескье, Гегель, Милль, Радищев, Пестель, Герцен, И. С. Тургенев, Чернышевский,

Достоевский, В. С. Соловьев, Короленко, В. В. Розанов, Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков и др.

После Монтескье, который актуализировал «медицинскую метафору» Платона, рассматривающего смертную казнь как лекарство для больного общества, Руссо полагал, что «частые казни – это всегда признак слабости или нерадивости правительства. Нет злодея, которого нельзя было бы сделать на что-нибудь годным. Мы вправе умертвить, даже в назидание другим, лишь того, кого опасно оставлять в живых». Он защищает ужесточение законности через отдельный кодекс (*codification séparée*) конституционных, гражданских и уголовных норм. Убежденный в том, что позитивное право способствует совершенствованию человека, он полагал, что право наказывать исходит из «общественного договора», имеющего «своей целью сохранение договаривающихся» [7, с. 175].

По Толстому, казнь «лишает возможности избегать зла и искать добра, лишает их того, что составляет сущность истинной человеческой жизни, и потому стоит на пути всякого совершенствования людей» [4, т. 28, с. 271]. А смертная казнь для него – это преднамеренное убийство, прямо противоположное христианскому закону и идее ненасилия.

Заметим, что приведенные фрагменты объединены мотивом совершенствования, который у Руссо рассматривается в правовом поле, у Толстого – в морально-нравственном. Отвергая идею первородного греха как источник преступления, Руссо рассматривает смертную казнь как моральное и физическое зло. Что касается Толстого, то ему «недоступно было сознание первородного греха, искажающего природу» человека [8, с. 41]. И смертная казнь для него – преднамеренное убийство, прямо противоположное христианскому закону и идее ненасилия.

У Толстого был личный опыт присутствия на смертной казни. Увидев в Париже гильотину в действии, писатель осознал, какую он «имел глупость и жестокость» присутствовать при публичной казни. «Я видел много ужасов на войне и на Кавказе, но ежели бы при мне изорвали в куски человека, это не было бы так отвратительно, как эта искусная и элегантная машина, посредством которой в одно мгновение убили сильного, свежего, здорового человека» [4, т. 60, с. 167–169].

В. А. Жуковский также считал, что, французская гильотина отвратительна: «Человек, создание Божие, отдается во власть машины, которая безжалостно <...> режет голову; несколько палачей, рабов машины, укладывают работу в короб, смывают с нее кровь...». И в связи с этим поэт вопрошает: «Уничтожить казнь? Нет. <...> Не уничтожайте казни, но дайте ей образ величественный, глубоко трогательный и ужасающий душу» [9, с. 140–141].

В «Исповеди» Толстой рассказал о казни в Париже, убедившей его в том, «что никакие теории разумности существующего и прогресса не могут оправдать этого поступка и что если бы все люди в мире, по каким бы то ни было теориям, с сотворения мира, находили, что это нужно, – я знаю, что это не нужно, что это дурно и что поэтому судья тому, что хорошо и нужно, не то, что говорят и делают люди, и не прогресс, а я с своим сердцем» [4, т. 23, с. 8]. Другими словами, «сердце умнее теорий всего мира и потому оно главный судья в человеческих делах. Толстой показал, что значит “оставаться со свободным решением сердца”. Он не боялся расходиться с большинством в своих взглядах и поступках. Способность личного, свободного и самостоятельного отношения к миру и людям определила достижения Толстого и в художественной и в религиозно-философской мысли» [10, с. 406].

В трактате «Так что же нам делать?» Толстой вновь возвращается к теме смертной казни, повторяя неизгладимое впечатление, он разворачивает его во времени и сопрягает мотив сердца с мотивом убийства как «худшего греха

в мире»: «Тридцать лет тому назад я видел в Париже, как в присутствии тысячи зрителей отрубили человеку голову гильотиной. Я знал, что человек этот был ужасный злодей; я знал все те рассуждения, которые столько веков пишут люди, чтобы оправдать такого рода поступки; <...> но в тот момент, когда голова и тело разделились и упали в ящик, я ахнул и понял не умом, не сердцем, а всем существом моим, что все рассуждения, которые я слышал о смертной казни, есть злая чепуха, что... убийство худший грех в мире» [4, т. 21, с. 190].

Тема смертной казни красной нитью проходит в художественно-философской системе Толстого, в письмах, дневниках, устных высказываниях и становится фактом его биографии. Так, в 1866 г., участие писателя в судебном процессе в качестве защитника рядового Василия Шибунина, приговоренного к смертной казни (он ударил офицера), его ходатайство перед царем о помиловании осужденного, не возымевшее действия, имело на всю его жизнь «гораздо больше влияния, чем все кажущиеся более важными события жизни: потеря или поправление состояния, успехи или неудачи в литературе, даже потеря близких людей» [4, т. 37, с. 75].

«На этом случае, – пишет Толстой в статье «Воспоминание о суде над солдатом», – я первый раз почувствовал, первое – то, что каждое насилие предполагает убийство или угрозу его. <...> Второе – то, что государственное устройство, немислимое без убийства, несовместимо с христианством» [4, т. 37, с. 75].

Цареубийство 1 марта 1881 г. Толстой осудил, но казнь революционеров, которую одобряли его прежние друзья (например, тульский помещик Ф. Д. Самарин), казалась ему также несовместимой с христианским учением. И он обратился с письмом к Александру III, объясняя, что осужденные – не «бандиты», не «шайка», а «люди, которые ненавидят существующий порядок вещей и правительство», и что с ними надо «бороться духовно» [4, т. 76, с. 177–178], и просил помиловать осужденных. Судьба десяти народовольцев, девяти из которых смертная казнь была заменена заключением в Шлиссельбургской крепости, долго не выходила «из головы и сердца» Толстого [4, т. 83, с. 326].

В 1906 г. в письме к своему последователю и биографу П. И. Бирюкову Толстой вспоминал, что «отрицательное отношение к государству и власти» окончательно сложилось у него под влиянием казни народовольцев в 1881 г. (которой он пытался воспрепятствовать), но что «началось это и установилось в душе давно, при писании “Войны и мира” и было так сильно, что не могло усилиться, только уяснялось» [4, т. 76, с. 114].

В связи со статьей А. А. Столыпина в защиту смертной казни в декабре 1908 г. Толстой написал ему краткое письмо: «Александр Аркадьевич, прочел то, что вы написали 18 декабря. 1. Стыдно, гадко. Пожалейте свою душу. Я любил вашего отца. 2, и мне больно за вас» [4, т. 78, с. 294].

Если в первой дневниковой записи в 1857 г. о смертной казни на гильотине Толстого ужаснули сам факт и планомерный, хладнокровный процесс умерщвления человека: «Поехал смотреть экзекуцию. Толстая белая здоровая шея и грудь. Целовал Евангелие, и потом – смерть, что за бессмыслица!» [4, т. 47, с. 121–122], то в дневнике за март 1909 г. имплицитно выражено отношение к государственной власти, как к шайке разбойников: «Смертная казнь хороша тем, что показывает ясно, что правители злые, недобрые люди, и повиноваться им так же стыдно и вредно, как повиноваться атаману шайки разбойников!» [4, т. 57, с. 32].

Наиболее яркой литературной полемикой Толстого в связи с проблемой смертной казни была с поэтом В. А. Жуковским, стихотворение которого «Певец во стане русских воинов» произвело на него в годы работы над «Войной и миром» «возвышающее душу впечатление» [4, т. 15, с. 52].

В конце 1840-х гг. в круг этических интересов Жуковского попала проблема наказания за преступление. В небольшой статье «О смертной казни», подчеркивая ее необходимость, он писал, что смертная казнь – это земное правосудие, которое спасает общественный порядок, установленный Богом: «Говорят: смертная казнь бесполезна, ибо она никого не пугает, никого не воздерживает от злодейства, не исправляет злодея неоткрытого, а злодея осужденного лишает возможности исправления. Смертная казнь, как угрожающая вдали своим мечом Немезида, как страх возможной гибели, как привидение, преследующее преступника, ужасна своим невидимым присутствием, и мысль о ней, конечно, воздерживает многих от злодейства» [9, с. 140].

В конце февраля 1893 г. Толстой прочел статью Жуковского «О смертной казни», который выступал против уродливости и зрелищности смертной казни, против превращения ужаса казни в потеху для публики. Он предлагал совершать такую казнь, которая удержит от злодейства будущих преступников, даст возможность душе преступника перед казнью смягчиться для «покорности и покаяния». Воображение поэта нарисовало «такой образ казни», который был бы «не одним актом правосудия гражданского, но и актом любви христианской» [9, с. 141], иначе говоря, чтобы казнь «возбуждала сострадание» к судьбе преступника. Романтик по природе, Жуковский нарисовал туманную и неопределенную картину казни, в которой все дышит таинственной жизнью сердца и души «в виду человеческой плахи» [9, с. 141] перед судом Божьим. Он только намекает на то, что место казни «должно быть навсегда недоступно толпе», которая «должна видеть только крест, подымающийся на главе церкви» [9, с. 141]. Казнь «будет совершаться внутри ограды, вокруг которой идут толпы народа, – двери этой ограды будут заперты; из-за нее будет слышно только одно умоляющее пение» [9, с. 142]. Действительно, «к смертной казни, внимание бесповоротно сместилось с самого события смертной казни на состояние души осужденного либо свидетеля казни. Очевидно, что мотивировался этот интерес двояко. Особый, обострившийся с конца XVIII в. интерес к страданию, насилию находил в теме смертной казни особые возможности. С другой стороны, каждое высказывание о смертной казни становилось поступком» [11, с. 424–425].

В эту пору Толстой заканчивал работу над трактатом «Царство Божие внутри вас», в заключительной главе он дает оценку статьи «О смертной казни» Жуковского, в которой он увидел «яркую иллюстрацию» своих мыслей против смертной казни: «Казнь такая, какую предлагал устроить Жуковский... при которой люди испытывали бы даже, как предлагал Жуковский, религиозное умиление, была бы самым развращающим действием, которое только можно себе представить» [4, т. 28, с. 273].

На полях одной из рукописей Толстой сделал вставку, которая не вошла в окончательный текст трактата: «Не знаю лучшего примера... извращения христианства людьми, стоящими у власти, как записка сладкого, изнеженного христианского поэта Жуковского о том, как устроить смертную казнь в церкви. Как это будет трогательно» [4, т. 28, с. 349].

На самом деле, Жуковский не назвал конкретное место казни, а только предлагал провести жертву из темницы через церковь: «Осужденный знает, что не будет предан на поругание толпы, что из темницы перейдет чрез церковь в уединение гроба» [9, с. 142]. Впечатление Толстого от статьи Жуковского было таким сильным, что в одном из вариантов «Царства Божия внутри вас», не вошедшем в окончательный текст, он высказался о Жуковском с такой резкостью, с какой никогда ни о ком не говорил. Он писал, что казнь, какую предлагал Жуковский, «была бы более развращающим действием, чем все, что только могли придумать все дьяволы, чтобы развратить род человеческий» [4, т. 28, с. 358].

В. А. Жуковский полагал, что смертная казнь – это установление Бога, потому необходимо не отменять, а преобразовать ее в *таинство*, во всеобщий «акт любви христианской». Толстому плохо давалось понимать тех, кто признает «совместимость христианства с тюрьмами, казнями и, главное, войнами» [4, т. 71, с. 322]. Эссе Жуковского оставило неизгладимый след в сознании Толстого. Он уже не вникал в тонкости рассуждений поэта, а видел только православного верующего, выступающего за смертную казнь... Отныне всегда, когда речь заходила о поэте, он вспоминал, как «что-то ужасное», что «этот добрый человек» написал «статью о смертной казни, где предлагает, чтобы казнь совершалась в церкви! В церкви, под пение молитвы» [12, с. 112]. Русская классическая литература не приняла статью Жуковского, – она снискала ему плохую славу, стала предметом осуждения и суровой критики. Кроме Толстого идею статьи Жуковского не приняли Н. Г. Чернышевский, Н. С. Лесков, З. Н. Гиппиус, от которой в 1909 г. Толстой получил письмо: «Слова русского писателя, которые я привожу, превосходят по кощунству и статью П. А. Столыпина, и все, что только я пока знаю. Лев Николаевич, не уставайте писать, кричать все о том же. Вы один можете это делать» [4, т. 79, с. 109].

В XX в. точки над «и» расставил русский мыслитель И. А. Ильин. Он один из немногих увидел в эссе «О смертной казни» мудрый и глубоко христианский опыт поэта В. А. Жуковского, который «казнил, любя». Об этом он писал в 1925 г. в работе «О сопротивлении злу силою». Вся проблема сопротивления злу разрешается одухотворенной любовью. Есть «универсальное правило “противиться злу из любви” – любви отдавая все свое, где это нужно; из любви понуждая и пресекая, где нужно; из любви уговаривая, и из любви казня» [13, с. 85].

Таким образом, в отличие от Ф. М. Достоевского, Толстому В. А. Жуковский не нравился. Романтическая муза поэта была Толстому чужда, не вызывала в его душе никакого отклика, разве что в молодости. В. Г. Белинский оказался прав, когда писал, что «произведения Жуковского не могут восхищать всех и каждого во всякий возраст: они внятно говорят душе и сердцу в известный возраст жизни или в известном расположении духа» [14, с. 182]. Толстой, очевидно, очень быстро миновал этот «известный возраст жизни», когда поэзия Жуковского могла влиять на его душу и сердце. «Известное расположение духа» только однажды помогло Толстому, и возвышенный дух «Певца во стане русских воинов» стал частью внутреннего мира писателя в период работы над «Войной и миром».

Если творческое наследие поэта Толстой считал «несущественным», то его человеческие достоинства он ценил высоко. Безграничная доброта, мягкость характера, утонченность и высоконравственность, трудолюбие, щедрость и ум снискали Жуковскому славу как одному из самых замечательных людей своего времени. Толстой признавал, что о Жуковском сохранится память как о человеке: «Мне кажется, что о Тургеневе сохранится память, похожая на ту, какую оставил по себе Жуковский. Он такой добрый, гуманный, обязательный, стольким помогал» [15, с. 32], а слава его сочинений не переживет его самого. Но, как говорили римляне, *pro captu lectoris habent sua fata libelli* («Судьба книги зависит от читательского восприятия»).

Список литературы

1. Римские деяния [Gesta Romanorum]. СПб.: Изд. ОЛДП, № 5, сноска 1877–1878. Вып. 1.
2. Словарь-указатель сюжетов и мотивов русской литературы: Экспериментальное издание. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2006. Вып. 1. С. 115–116.

3. Жуковский В. А. Собр. соч.: В 4 т. М.; Л.: Худож. лит., 1959–1960. Т. 2.
4. Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. («Юбилейное»): В 90 т. М.: Худож. лит., 1928–1958.
5. Пролог: В 4 т. М.: Изд-во при Свято-Троицко-Введенской Церкви, в тип. Единоверцева. В лето от сотворения мира [7383], от Рождества же по плоти Бога Слова, 1875. Т. 3: Сентябрьская четверть. Сентябрь, Октябрь, Ноябрь. (19 ноября). 443 л.
6. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М.: Юрид. Изд-во НКЮ СССР, 1939.
7. Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М.: Наука, 1969. 703 с.
8. Бердяев Н. А. О русской философии: В 2 ч. Свердловск, 1991. Ч. 2.
9. Жуковский В. А. О смертной казни // Жуковский В. А. Полн. собр. соч.: В 12 т. / Под ред., с биограф. очерком и примеч. А. С. Архангельского; с прил. портр. Жуковского, гравир. на стали, и его факс. СПб., 1902. Прил. к журн. «Нива» за 1902 г. Т. 10. С. 140–142.
10. Линков В. Я. Современное мифотворчество. Юбилейная печать о Л. Толстом // Яснополянский сборник – 2010. Тула, 2012. С. 401–422.
11. Лукьянец И. В. Картины смертной казни и телесного наказания у Ж.-Ж. Руссо и Л. Н. Толстого (от воображаемого к реальному) // Яснополянский сборник – 2012. Тула, 2012. С. 423–437.
12. Гусев Н. Н. Два года с Толстым. М.: Худож. лит., 1973. 462 с. (Серия литературных мемуаров).
13. Ильин И. А. Путь к очевидности. М.: Республика, 1993. 431 с.
14. Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. М., Худож. лит., 1981. Т. 6.
15. Русанов Г. А., Русанов А. Г. Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом. Воронеж: Центрально-Чернозем. кн. изд-во, 1972. 279 с.

A. N. Polosina

Tula, Russia

**THE HISTORY OF WEST-EUROPEAN PLOTS
IN THE WORKS OF SCHILLER, V. A. ZHUKOVSKY AND L. N. TOLSTOY**

The theme of frailty of earthly existence, inconstancy of happiness and futility of human hopes was among the interests of Schiller, V. A. Zhukovsky and L. N. Tolstoy. Therefore they were interested in the legend of Polycrates' ring by the historian Herodotus, and St. Barlaam's «Parable of the man and the unicorn», which reflect this timeless theme. The article describes the primary sources of these vagrant themes and their interpretation in the works of the above-mentioned writers.

Keywords: fate, fatalism, vagrant theme, delusiveness of happiness, futility of hopes, capital punishment.

Polosina Alla N. – candidate of philology, senior researcher of the State Memorial and Natural Preserve «Museum-estate of Leo Tolstoy “Yasnaya Polyana”» (Yasnaya Polyana 301214, region of Tula; alla.polosina@tgc.tolstoy.ru; +7 (487 2) 23 98 32)